

Рецензия

Дэвид Харт. *Красота бесконечного: эстетика христианской истины.* — М.: Библиейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010. — 673с.



Словно эхо страстных дискуссий второй половины XX века слышим мы со страниц книги Дэвида Харта "Красота бесконечного: эстетика христианской истины", которая недавно была выпущена в издательстве ББИ. Есть в ней что-то несвоевременное (о чем автор предупреждает нас в предисловии), чувствуется то напряжение, та резкость, которые уже давно несвойственны философско-богословским дискуссиям. Пожалуй, это одна из немногих книг, которая

с такой настойчивостью пытается ответить на вызов постмодерна в области теологии, прибегая к таким уже традиционным для самой постмодернистской философии категориям как: дар, свидетель, жертва, дистанция, желание, различие. Харт пытается показать, что у патристики есть собственный оригинальный подход к тем проблематикам, которые затрагивает современная философия. Более того, он не просто неудовлетворен теми откликами теологии на постмодерн, который некоторые исследователи называют "теологическим поворотом" (и связывают с именами Э.Левинаса, Ж. Деррида, Ж.-Л. Мариона, Р. Жирана), но во многом эти отклики в анализе Харта становятся объектами критики.

Книга состоит из трех частей. Первая — "Дионис против Распятого" посвящена рассмотрению связей между насилем и метафизикой. Вторая — "Красота бесконечного", анализу основных концептов христианства: Троицы, творения, спасения, эсхатологии, в контексте связей, выявленных первой главой. В третьей части — "Риторика без изъятия" предложена концепция, согласно которой порочные связи насилия и метафизики расторгнутся мирным христианским нарративом.

Книга интересна прежде всего нетривиальной для богословия постановкой вопроса: каким образом риторика христианства может быть понята как мирное предложение, а не как практика убеждения, насилия и принуждения. Вера в то, что любое риторическое действие суть насилие

является, по мнению Харта, едва ли не ключевым маркером постмодернизма и одновременно той точкой, в которой постмодернизм сталкивается с теологией. Генетически он возводит гипотезу о насилии риторики к ницшевской критике христианства, основным вызовом которой Харт считает подозрение в двуличности самого христианского нарратива: согласно Ницше, утверждая мир, он в завуалированной форме стремится к власти и порабощению.

Ответ, который предлагает Харт на критику такого рода — это богословие красоты. Красоты, внутренне принадлежащей христианскому нарративу, который в свою очередь есть абсолютная противоположность насилия. Таким образом, Харт пытается дать эстетический (местами даже эстетский) ответ на критический ницшевский дискурс. Тем более удивительно, что при разворачивании такого рода аргументации и своей симпатии к восточной христианской традиции, он обходится без Достоевского.

Критических замечаний заслуживает и избранный автором метод. Пытаясь доказать, что сама "доказательность" есть лишь эффект стиля, текст книги часто становится репрезентацией этого тезиса. И тогда аргументом выступает не содержание, а форма и академический текст местами превращается в хвалу, в гимн, в проповедь. Несмотря на внутреннюю последовательность, такая позиция остается достаточно уязвимой, будучи помещенной в тот контекст, внутри которого Харт старается работать.

Во-вторых, несмотря на свою сложность, книга ориентирована на довольно широкую публику — поэтому в ней много места уделяется пересказам тех точек зрения, с которыми спорит автор. И здесь обнаруживается неосторожность Харта как мыслителя, — его определенная "нечуткость" к тем теориям, которым он противопоставляет свой проект. Так, например, Харт упорно не замечает, что критика Ницше направлена не против сущности христианства, а скорее против извращения этой сущности церковью или против того, что Р. Жирар назвал "историческим христианством". Такого рода нечуткость проистекает не просто из-за вынужденной краткости, а скорее как проявление изначальной предвзятости автора, вследствие чего, его анализы оставляют ощущение небрежности, а порой даже открытого пренебрежения. По сути, упомянутые Хартом теории, нужные ему лишь как введение в собственную мысль, как повод для того, чтобы запустить и развить свою аргументацию. Однако в таком случае его текст становится свидетельством как раз того, против чего он выступает. Насилие вновь проникает в риторику. И логика жертвоприношения снова преодолевает логику дара.

Тем не менее, в книге достаточно мест, которые заслуживают внимания и заставляют по-новому взглянуть на, казалось бы, уже давно решенные вопросы. Нельзя не отметить прекрасное чувство юмора автора. Так, его попытка ответить на критику Ницше в терминах "ойно-теологии" или богословия вина надолго

запомнится читателям. Харт утверждает, что вино Диониса — это грубое вино, предназначенное для того, чтобы опьянять; с другой стороны, вино в христианском Писании — это божественное благословение и образ Божьей щедрости. А так как Ницше был трезвенником, он не мог оценить достоинств хорошего вина, и потому не удивительно, что в этом вопросе он проявил дурной вкус. Такие пронические обороты оживляют этот по сути академический *Opus Magnum* Харта, но это не просто юмор. В случае с Ницше — это предельно сжатое представление метода этого исследования, ведь Харт полагает, что аргументация Ницше держится исключительно на его риторике, а, следовательно, ее убедительность покинется только на эстетических предпочтениях. И таким образом, обвиняя Ницше в дурновкусии, Харт, тем самым, стремится преодолеть ницшевскую критику его же методами.

Нельзя также не отметить хороший перевод, сделанный Андреем Лукьяновым. Сложный текст книги,

оперирующий множеством строго философских понятий на нескольких языках (включая латынь и древнегреческий) по собственному признанию переводчика стал для него захватывающей интеллектуальной головоломкой.

В завершение хотелось бы сказать несколько слов о роли этой книги для современного богословия на постсоветском пространстве. Несмотря на свою несвоевременность, книга может служить в некотором смысле "библиотекой" основных дискуссий между богословием и философией второй половины XX века. Мы имеем дело с культурным артефактом, выполненным на высоком интеллектуальном уровне. Более того, эта работа указывает на относительно новую для православной мысли возможность собственной репрезентации, через четкое определение своего местоположения относительно современных философских течений.

Евгений Галёна